

## Глава 1

**В**ырин уже давно свыкся с тихими затяжными болезнями, сопутствующими близящейся старости. Но летом он ощущал тяготы, муки тела гораздо явственнее, чем в другие сезоны. Они созревали, набирали силу к концу августа, к очередной годовщине побега, терзали суставы, сосуды, зрачки — и легко уходили ранней осенью, когда спадала жара, успокаивался барометр.

“Может быть, так действует смертный приговор, вынесенный *in absentia*?” — шутил он сам с собой, чувствуя на губах полынный вкус отсроченной смерти.

“Или это тело мстит мне? — думал он. — Мстит за новое лицо, созданное пластическим хирургом? За удаленные лазером памятные шрамы и родинки? Все помнит и нарочно подгадывает месть к дате бегства?”

От контактных линз, изменяющих цвет глаз, постоянно конъюнктивит. Ноги ноют от вставок в ботинках, увеличивающих рост. Волосы стали лом-

кими, выпадают из-за краски. Быть другим — ежедневный тяжелый труд. А он все никак не привыкнет.

Формально тот прошлый человек больше не существовал. Был другой. Подкидыш, перевертыш, чью биографию сочинили мастера лжи и перевоплощений.

Иной язык. Иные привычки. Даже сны — иные. Иная, как бы выросшая поверх прежней, память.

Однако подаренная личность совмещалась с ним настоящим только как протез; лишь считанные разы Вырин ощущал ее естественной своей частью.

Тело, пусть даже и переписанное, перерисованное скальпелем, помнило — нутряной памятью кишок, печени, почек, в которых осаждаются, кристаллизуются шлаки бытия, желчные и почечные камни. Тело сопротивлялось, отторгало новое обличье, новое имя, новую судьбу. Сопротивлялось, хотя возврата в прошлое для Вырина не было и быть не могло; из-за приговора банальная метафорическая сентенция имела и прямую юридическую силу.

И он научился не подавлять, а ценить, сочувственно наблюдать это упрямство дряхлеющей плоти, отрицающей фальшивое, навязанное таинство второго рождения. Тело, тело, только ты и осталось у меня, говорил он иногда со странной подростковой нежностью. Тело и вправду осталось единственным имеющимся у него материальным свидетельством, что он прежний когда-то был.

Но существовало и другое свидетельство, недоступное, неподвластное ему. Бумажный призрак. Дубликат жизни. Особое архивное “Я”, которого нет у обычных людей.

Личное дело офицера.

Выжимка, суть его прежнего. Еще не перебежчика. Еще не предателя.

Папка из голубого картона. 225 × 330 × 25 мм.

Контрольная фотокарточка. Анкета. Автобиография. Рапорт о зачислении на службу. Расписка о неразглашении. Материалы спецпроверки. Тест на выносливость: кросс на три километра. Характеризующие материалы: бумаги, бумаги, бумаги.

Он знал, что после его бегства был издан приказ с грифом СС, “Совершенно секретно”, с двумя нулями в номере: “О мерах в связи с предательством Вырина А. В.”. Ему зачитывали в секретариате такие приказы — о других. Одинаковые, будто написанные под копирку. “Идейное перерождение. Нравственное падение. Принять меры к локализации последствий предательства”. Менялись только имена наказываемых: кадровиков, руководителей учебных отделений, начальников подразделений, которые не проявили должной бдительности, не распознали заранее потенциального изменника.

Но он-то понимал, что в его случае выговоры были объявлены напрасно. Он служил системе преданнее других. И больше иных испугался, когда начала разваливаться страна и показалось, что система рухнет вслед за ней.

Вырин убеждал себя, что уже минули почти три десятилетия и выданная им информация, выданные агенты — все это давно потеряло значение. Агенты, говорил он себе, все равно сгорели бы, их все равно кто-нибудь выдал бы, не я, так другой. Я просто успел сбить их вовремя, как деньги, что вскоре катастрофически обесценятся; еще год, два — и кому были бы нужны, к примеру, сведения об агентуре

в среде антисоветской эмиграции, в рядах европейских коммунистических партий? Если самого СССР уже не стало?

Размышляя рационально, Вырин предполагал, что он в относительной безопасности. Но оставшееся там, за бывшей советской границей, которую он не мог пересечь, личное дело было словно кукла вуду, в которую колдун в любой момент может воткнуть свои смертельные иглы.

Поэтому порой Вырин испытывал беспричинную тревогу, оглядывал руки, живот, шею, лицо: нет ли какой-то необычной сыпи, папиллом, тех странных знаков, что иногда посылает людям вещее естество. В эти мгновения ему казалось, что есть смутная, роковая связь между плотью и бумагой; что оставшийся в архиве документ умеет чувствовать и потому знает больше, чем в нем написано, обладает одномерной душой фурии, умеющей только искать и мстить.

“Бумага хочет крови”, — шептал он, вспоминая, как ему выдавали увесистые картонные папки: дела оперативного наблюдения, дела оперативной разработки. Тогда он еще был загонщиком, а не дичью. Занимался высланными, бежавшими, уехавшими на Запад. Они уезжали, а их дела оставались на архивном хранении; если нужно, дела поднимали — было на службе такое специфическое выражение, “поднять из архива”.

Из подвала. Из глубины. Со дна.

В делах было все. Тысячи страниц. Расшифровки перехваченных телефонных разговоров. Агентурные сообщения. Сводки наружного наблюдения. “В первой половине дня выход объекта из дома и посеще-

ние его квартиры известными разведке лицами места не имели. В 16 часов 35 минут во двор объекта въехал автомобиль марки...” “В 10 часов 05 минут вышел из дома, направился в булочную, где приобрел батон белого хлеба...”

Бледные буквы — износилась лента печатной машинки — будто отражали бессилие, жизненное малокровие тех, за кем велась слежка. Он помнил тысячи этих строк. Их заурядность прежде действовала на него как афродизиак; зримое воплощение мощи их службы и ничтожества ее внутренних врагов — букашек, козявок, насекомых под лупой.

Теперь — спустя новую жизнь в свободной стране — ему казалось, что он читал тогда параноидальный роман без автора, текст текстов, который писала одержимая государственная машина памяти. Роман, стремящийся — в пределе — охватить всю жизнь целиком, создать ее полицейскую копию.

Но государство всегда Циклоп, его взгляд не стереоскопичен, однок. Оно видит только водяные знаки лояльности и нелояльности. Отражения исходных подозрений, обретающих мнимую плоть в случайных событиях. Поэтому досье, думал он, не дубликат жизни. А особый, темный, усеченный ее двойник, сотканный из доносов, украденных, подслушанных слов, подсмотренных сцен; источник тайной зловещей власти, заключающейся в самой возможности сорвать защитные покровы будничности.

Он тоже создавал таких двойников, чтобы с их помощью охотиться на людей.

Сейчас же охотились за ним.

Вырин не мог это доказать. Только чуял, осязал — шестым чувством жертвы. Он ничего не знал навер-

няка, их служба не делилась своими секретами даже внутри самой себя. Лишь догадывался, что был — мог быть — еще один, негласный, приказ: тень того номерного “О мерах в связи с предательством...”. Приказ, он же приговор. Ведь в девяностые Вырин давал показания полицейским, которые расследовали коммерческие связи его бывших коллег, подставные фирмы, вывод и отмывание денег. Тогда это казалось безобидным. Теперь — нет.

Психологи предупреждали его, что он может испытать иррациональное желание позвонить в посольство, сдать ся. Или бессмысленно рискнуть, глупо пренебречь правилами конспирации, как бы подсознательно навлекая на себя разоблачение.

Он же никогда не чувствовал подобного.

Но и не рассказывал психологам, что суеверно опасается совсем другого: дурного совпадения, какого-нибудь незначительного блуждающего случая, роковой безделицы, нелепицы. Вроде той, что произошла месяц назад: Вырин получил по почте гербовое уведомление, что отобран в присяжные заседатели.

Лотерея, слепое попадание: компьютерная программа выбрала его из трех сотен тысяч жителей города. Можно даже сказать — хороший знак, подтверждение, что его фальшивой чеканки личность не вызывает вопросов у непосвященных бюрократов, обращается, котируется наравне со всеми прочими.

А он насторожился. Будто почувствовал инородное, ищущее прикосновение, недобрый взгляд. Ведь с самого начала ему твердо обещали, что его новое имя не попадет в официальные выборы или списки. Пришлось звонить курирующему офицеру. Тот из-

винился, обещал, что его вычеркнут; дескать, судейские обновляли программу и совместимые базы данных, вот и вышла накладка.

Вырин настаивал на том, чтобы пойти заурядным, легальным путем, взять отвод по состоянию здоровья. Не оставлять электронные следы, которые могут косвенно указать на особый статус господина Михальски. Офицер лишь вежливо усмехнулся.

Прежний куратор еще помнил холодную войну. Стену. Он недавно ушел на пенсию. Новому было лет тридцать с небольшим. Когда Вырин бежал, он еще ходил в детский сад. Наверное, подопечный казался ему чем-то вроде ненужной рухляди, стариковского скарба, завалившегося на чердаке.

“Считает, что я чокнулся от скуки”, — думал Вырин.

Первый его порыв был — уехать. Но он тут же передумал: если за ним все же наблюдают, поспешный отъезд может его выдать. Поэтому Вырин прожил месяц в строгом, даже излишне строгом, согласии со своим всегдашним распорядком нелюдимого холостяка-пенсионера.

И вот гнетущее чувство тревоги наконец ушло; остались только привычные, наскучившие хвори.

Начинался август. По утрам на городском рынке фермеры продавали с лотков, переливающихся бордовым гляncем, овечьих золотым гудением ос, позднюю вишню, ту, что идет в знаменитый местный торт.

Вишня была чуть пьяная. Во всех странствиях он не видел таких ягод, Голиафов среди вишен, крупных уже до нарушения пропорций, до великанского уродства. Вырин купил этих безукоризненно слад-

ких вишен, но не смог съесть весь кулек: слишком много безвкусного вкуса, неживой фруктовой мякоти, будто целуешь бестрепетные в наркозном сне губы.

Он решил прогуляться излюбленным дальним маршрутом, вознаградить себя за долгие недели затворничества. От реки, делящей город надвое, порожистой и мутной после дождей, от ошалелой ее воды, летящей, то превращаясь в пену, то становясь гулкой волной, Вырин пошел в холмы, в лес, темный даже в солнечный летний полдень.

Поднялся по улице, идущей от главной площади, мимо любимого туристами дома, где из слухового окна торчала, нависая над мостовой, диковинная статуя: усатый янычар в расписной жилетке, с ятаганом в правой руке и щитом в левой — напоминание о жестокой турецкой осаде, о былой угрозе с Востока.

Вырин уже давно не относился к городу как турист. Его не забавляли ни пляшущие фигурки церковных часов, ни крутой фуникулер, ни тоннели в замковой горе. Но одинокий ассасин с двумя лунами на щите, отвернувшимися друг от друга, похожими на скобки, развернутые в обратную сторону — божество опасного отрезка, недоброго часа, — был для Вырина отнюдь не забавой. Вырину чудилось: если по его душу явится убийца, янычар предупредит, подаст знак.

Около дома с янычаром толпились туристы. Он услышал беглые слова родного языка — после отшельничества прозвучавшие так внезапно и остро, словно в них, обыденных, был скрыт тайный, неведомый самим говорящим второй смысл. Вырин плавно пере-



шел на другую сторону улицы, посмотрел, не поворачивая головы, на отражение в витрине: ничего особенного, просто воскресная экскурсия.

Кварталы особняков. Ботанический сад на окраине. Запотевшие изнутри стекла оранжерей, словно там жарко дышит, сочится едким потом, копит силы, чтобы вырваться наружу, чуждая растительность тропиков, перенявшая хищные хватки пресмыкающихся и насекомых.

Вырин вышел на грунтовую дорогу, уводящую зигзагом вверх по склонам долины.

Лес был сказочно велик. Он рос по оплывшим склонам известнякового хребта, обрывающегося кручами в туманные заросли, в зеленую прель папоротников и мхов. В лесу терялись расстояния, дорога круто петляла, солнце светило то справа, то слева. Но когда уже казалось, что ты сбился с пути, вдали гулко и ясно звонил соборный колокол; собственно, из-за тягучего оклика колокольной меди, указующего, ободряющего, рассеивающего тревоги, Вырин и любил этот путь среди матерых елей, напоминающих леса его детства.

Он шагал, чувствуя, как тело наполняется блаженной усталостью. Вырин помнил каждый корень, каждую яму на этом пути, предвкушал, как слева покажется пастбище, обсаженное рябинами — ягоды уже, наверное, налились цветом, — потом потянет славным, добрым печным дымом с фермы... Ходьба и утомила, и взбодрила его, недавние опасения казались вздорными; похоже, думал он, я действительно постарел, стал по-пустому мнительным.